

Lena Swann

Распечатки

прослушек интимных переговоров
и перлюстрации личной переписки

В двух томах

Том №2



Харьков
«ФОЛИО»
2015

The e-mail attachment has been sent from lenaswann@hotmail.com to mobile.wisdom@outlook.com at 00.17 on 19th of April 2014

Г Л А В А 6

Въехали в Мюнхен уже после полудня, и как-то неожиданно. Вдвинулись легко, как длинный выдвижной ящик в распахнутый прозрачный дребезжащий сервант вокзала. В котором явно хранилось что-то съестное. Что-то десертное. Судя по запаху, врывавшемуся в открытые до предела фрамуги вагонных рам — свежее испеченные булочки.

— Не исключено, что со сладким творогом, — пробубнил с ученым видом Воздвиженский, смешно поддегивая по полукругу носом и, смакуя, поджимая пухлые свои губы — высунувшись, рядом с Еленой, в окно. — Ватрушки, короче. Да, да. Точно. С очень сладким творогом.

Ей было лень с ним спорить. Хотя у нее у самой не было на этот счет ни малейших сомнений: это сдобные булочки с горячим повидлом внутри. А никакие не ватрушки.

Как только вагонная хлябь под ногами сделалась твердью, в ту же секунду, вместе с захватывающей дух легкостью ощущения материализовавшегося чуда — Мюнхен! Заграница! Свобода! — в Елене вновь во весь рост поднялся ужас — истошный, и не менее реальный, чем внезапно выросший вокруг вокзал и город — ужас перед всякой неотвратимой технической мелкой дрянью, которая вот-вот сейчас вот уже, через пару минут на нее нагрянет: как они сейчас будут выходить из вагона? А вдруг Воздвиженский схватится понести ее сумку? Или еще чего хуже, подставит ей руку на выходе, ну или еще какая-нибудь пошлость? В панике, но стараясь как можно реже пинать попутчиков, сосредоточенно возящихся на полу с молниями и кнопками, и пытающихся насильно накормить жирными съестными объедками свой и без того уже обожравшейся одеждой багаж, Елена молча, сжав зубы, выгнала пендалями свою сумку сперва вон из купе, — затем провела пять метров жестокой и нечестной корри-

ды против стреноженных и пыхтящих корячащихся существ вдоль по коридору в тамбур, — а там уже, рванув огромный рыжий рычаг на двери (больно бодавшийся, если не успеть вовремя отскочить, точно как локоть нетерпеливых сограждан, и мстительно сложившийся на прощание при открытии в соответствующую образу неприличную фигуру с закавыкой) — она резко, на последнем дыхании поддала голенью ускорения своему нейлоновому спортивному баулу, — тот с живым, неожиданно кожаным, стуком первым рухнул на мюнхенский перрон, — и сиганула следом за багажом.

Приземлившись, Елена, в секунду позабыв про весь мрачно маячивший в самых страшных ее ожиданиях всего миг назад мещанский кошмар, хлопнулась прямо здесь же задом на сумку, как на диван (хотя и неудобно уменьшенный), примяла его хорошенько, и, выделав, наконец, сносное гнездо, откинулась, задрала голову — и с наслаждением обнаружила себя в огромном воздушном аквариуме для голубей, которые вели себя так, что не оставалось никаких сомнений, для чьих, собственно, путей сообщения это здание построено: синхронно и грациозно промахивали навстречу друг другу между сводами и перемычками и ритмично (и, вполне вероятно — по расписанию) прокладывали невидимые воздушные рельсы между всеми вертикальными измерениями и плоскостями вокзала.

В полсотне метров от нее, прямо во внутренностях вокзала как мираж разражался целый город из сверкающих душистых лавочек (с развешенными на стенах, как геральдика, тригонометричными кренделями, блестящими бриллиантовой солью крупной огранки, и стократно рифмовавшимися в зеркальцах и в зыркающих восьмерках модных очков в аптеке напротив, заваленной горами леденцов в светящихся и танцующих вокруг своей оси стеклянных ульях при входе, и из-за этого похожей больше на кондитерскую) и дальше — десятками как-то невероятно перетекавших из одного жанра в другой — вслед за ее взглядом — кафе, конфетными эрмитажами и фруктовым антиквариатом — и все это зримое, вот здесь вот, на расстоянии обонятельной пробы воздуха, за стеклянными прозрачными стенками и с настезь распахнутыми ноздрями, то есть, дверями, обещавшими какие-то несметные радости россыпью сытного света, и ярких запахов, и смеющихся своему неведомому счастью незнакомых людей рядом.

Взвесив и распробовав небывалые ароматы, все то, что свербело в носу, все то, что было «пред-вкушаемо» в буквальном смысле («Запах — это же ведь просто сильно растворенный в воздухе вкус», — нетерпеливо внушала она себе сама под нос), мысленно исследуя все те обаятельные веяния, все те разлетевшиеся как в невесомости аппетитные частицы, что требовали скорей найти первоисточник в пространстве, она вдруг почувствовала, что главная и самая трево-

жащая — потому что теоретически невозможная — нота в этой вокзальной обонятельной какофонии — несъедобна, что проникает она снаружи, из-под распахнутых навстречу городу пазух станционной кровли, — и что это — невероятный, не-по-московски, не-по-мартовски, внятный, настойчивый и самоуверенный, диктующий себя всем остальным, кулинарным, прикладным, местечковым, младшим ароматам, как основной ингредиент: запах жаркой весны.

Елена стянула с себя, блаженно, будто душный кокон, зимнюю стеганую куртку: «Невообразимо! Первое, самое первое, марта. Выезжали из Москвы, из зимы, из февраля, из грязного, безвидного, узаконенного календарем бесстыжего месива снега перед Белорусским вокзалом. И вот уже хочется раздеться до футболки!»

Она вдруг с ознобом, как о дурном болезненном сне, вновь, вмиг, вспомнила во всех деталях о последней ночи, о чужом, смурном, грубом, вечно всем недовольном человеке, которого она почему-то, ни с того ни с сего, взялась приручать — и сразу до дрожи, до оторопи, до судороги, испугалась, что вся эта весна сейчас стинет — по ее грехам. Зажмурилась на пару секунд — и с ужасом разжала веки.

Весна, однако, никуда не исчезла.

Вокзал тоже не развеялся — оставался огромной сияющей солнечной печью, где выпекались все эти съестные запахи — а жар все-таки исходил снаружи. Неопровержимое солнце без всяких компромиссов врывалось и, властно, разом, со всех сторон, заполняло собой внутренние воздушные полости — сквозь все доступные периферийные дыры, окна и прорехи — и, как дирижер, заставляло звучать в нужном ритме и нужной последовательности все сгрудившиеся здесь, как в угловатой гигантской оркестровой яме, подручные инструменты: и ослепленные бликами лбы позвоночных полозов поездов; и ударные лучистые бакалейные лавочки, непрестанно скачущие и пляшущие туда-сюда за прозрачными заламинированными солнцем дыц-дыц-дыц, дыц-дыц дверцами; и блёстки едальни с заламинированными посетителями, мерно и с удовольствием поигрывающими смычками ножей на персональных своих солнечных тарелках, имеющих обязательную зыблющуюся, перекатывающуюся, переливающуюся, медовую пару на потолках; и все, все, все эти бесконечные кружащиеся и голосящие в хоре фруктово-цветочно-мороженно-сладко-жаркие сладостно сладкожно творожно повидловые магазинчики, на волнистых струнах почти невидимых стеклянных стен которых солнечный свет играл как на арфах, заглушая электрические ватты в общем-то ненужных, избыточных, подстраховочных их люминесцентных рампах, которые Елена, обманутая слепящей глаза яркостью взвеси, в первом момент по ошибке приняла было за основной источник торжества; и — наконец, как последний изыск — как

на крошечной портативной перкуссии — играло солнце на правом хромированном колечке крепления хлястика рубином разгоревшейся ее нейлоновой сумки: из него, из крошечного этого хромированного колечка (Елена любовалась им теперь чуть дыша, боясь шевельнуться и спугнуть чудо, с тайным чувством незаслуженно свалившегося на ее «диван» богатства) яркий луч высекал такие звенящие брызги и искры, что ослепли бы даже те сварщики в космических касках с затемненными намордниками, мимо костров которых на вечно перерытых канавами улицах Москвы Анастасия Савельевна в детстве проводила ее за руку с благоговейным, даже суеверным каким-то ужасом (каждый раз повторяя одно и то же: «Не смотри, доча. Отвернись. Нельзя смотреть, когда так ярко. Ослепнуть можно»); и — в довершение, когда Елена, в изнеможении от всего этого светопреставления, вновь откинулась спиной плашмя на сумку, задрал лицо кверху, воздух разрешился финальным аккордом над ее головой — более чем уместными (над всем этим вдохновенным вокзальным солнечным концертом-солярием) шквальными аплодисментами крыльев пепельных голубей.

Тем временем в тамбуре происходила борьба. Пока Анна Павловна пыталась законно возглавить колонну учеников, высокий, горбоносый, кадыкастый, в высоких казаках своих, Федя Чернецов умудрился встрять вперед нее, раскрутившись к ней лицом, в дверях, и теперь растопырил руки и настырничал с проявлениями мужской галантности.

— Феденька, да что ты вцепился в мою сумку, как ненормальный? Отдай! — изнывала, как можно тише, чтоб не устраивать скандал на публике, Анна Павловна, пуще смерти боявшаяся прилюдно опозориться из-за учеников — тем более перед иностранцами.

— Нет, ну зачем же отдавать? Я ее вам сам сейчас снесу! И чемоданчик! И вас саму тоже! Дайте мне вашу ручку, Анночка Павловна! — орал и упирался Чернецов и галантно хрюкал.

— Феденька, уймись, не дам я тебе никакой твоей... моей, в смысле... никакой ручки! Отстань, голубчик! Дай мне пройти! — уже с легкими накатом угрозы в голосе наступала Анна Павловна, явно ничего не подозревавшая о внезапной Чернецовской к ней страсти, и приписывавшая Чернецовскую прыть жажде загладить недавнюю двойку по немецкому. Классная руководительница раздраженно дергала на себя свою маленькую коричневую дамскую сумочку, в которую Федя тоже вцепился мертвой хваткой, как будто бы это и был главный предмет его любви.

Образовался затор.

Не без боя, но чемоданчик Анна Павловна, все-таки Чернецову явно готова была уступить — не до вечера же тут в тамбуре торчать, — но за себя саму, а уж тем более за ручную кладь, она, похоже, решила

стоять насмерть. В аккуратной коричневой дулеобразной сумочке были спрятаны у нее все документы класса, и Анна Павловна явно боялась даже вообразить себе, в каких похабных прикладных панковских целях может тут же злоупотребить ридикюльчиком буйный Федя.

Однако вошедший во вкус донжуанства Чернецов был уже ни на какие компромиссы не согласен. Ласково борясь с Анной Павловной, Чернецов заодно уже дважды хорошенько, и не без умысла, лягнул чемоданом Анны Павловны пузатого седого немца в клетчатых брюках и голубой рубашке с кляксами пота, расплывавшимися у него из-под мышек, как следы от несуществующих крылышек; у того из багажа оказался только с пыхтением стащенный клетчатый же пиджак и некрасиво заткнутый в нагрудный карман пухлый черный кошелек; потный баварец, судя по его позитуре в тамбуре за Анной Павловной, и по руке, как бы невзначай занесенной на уровне ее плеч, и подвешенной там на какой-то воздушный крючок, и, на трусоватой дистанции, разлаписто полуобнимавшей в воздухе ее фигуру, а также судя по умилению на его широком бордовом лице, и сам не прочь был предложить джентльменские услуги этой маленькой стройной болтливой русской, просплетничавшей с ним в купе всю дорогу на таком забавном чересчур правильном хох-дойче — однако вынужден был отступить перед юным напором Федеи.

— Анна Павловна: только через мой труп! — выпалил Чернецов. — Ну разрешите мне за вами поухаживать! Ну дайте мне сумочку, а! Вам что жалко, что ли! Вы за что меня так не любите, Анна Павловна?! Ну дайте мне ручку! Не любите меня, да?! Я плохой, да?! Я сейчас на колени перед вами встану! Я больше не буду! Я ща заплачу! Хрюй!

Опешившая от такой сентиментальности Анна Павловна, чтобы не плескаться горячего в уже и так уже опасно тлеющий и заметный посторонним скандал, залепетала:

— Ну что ты, Федечка, такое городишь, а? Что ты несешь?! Как маленький прямо!

— Я уже большой, Анна Павловна, между прочим!

— Большой, большой, Федя, отпусти сумку!

— Скажите, что вы меня любите, Анна Павловна! Упаду вот ща иначе вот тут и умру!

— Конечно я тебя люблю, я вас всех люблю! Все тебя любят! Только отдай сумку, тебе говорят! Немедленно! И уберись с прохода!

Окрыленный Чернецов на молниеносную долю секунды усыпил бдительность дамы сердца, выпустив из рук ее сумочку — Анна Павловна на миг ослабила оборону:

— Ну вот и молодец, Феденька...

Что и стало ее роковой ошибкой: едва Чернецов почувствовал послабление, правой рукой уже намертво схватил ее чемодан, а левой